



● *Владимир Бойков*

А В Т О П О Р Т Р Е Т

Владимир Николаевич Бойков
Автопортрет.
Стихотворения. 1958–2011

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55341526

Автопортрет. Стихотворения. 1958–2011:

ISBN 978-5-98604-293-0

Аннотация

Новая книга Владимира Бойкова отражает полвека его творчества (1958–2011), в нее включены как изданные, так и не публиковавшиеся стихи. Книга поэта «У четверти века в гостях», изданная десятилетием ранее в том же издательстве, относилась к московскому времени его творчества (1975–2001).

Содержание

Странствования	11
Ноктюры	14
«Электрическим потоком...»	14
«Из потемок осыпаясь...»	15
«Тучи к ночи почернели...»	15
«Звезды высыпали густо...»	16
Кратко и кротко	17
Суть формы	17
«Нас очищает —...»	17
«Глазами ушиблась...»	17
«Карапузы произвели...»	18
«Необыкновение —...»	18
«День раздал все гостинцы походя...»	19
«Сказал мудрец...»	19
«Круговорот жестокий...»	19
Пейзаж	20
«Белье, просушенное стужей...»	20
«Пустой манеж потемками окован...»	20
Танькины рассказы	21
«Автобус – люлька человек на тридцать...»	21
«Мне вчера рассказывала Танька...»	21
К западу от востока	23
«Удери я к чертовой матери...»	23

Охота	23
Гробница	24
В горах	26
«Мы ходим верхами...»	26
«С чистой музыкой сверь...»	27
«Тонехоньки рученьки —...»	27
«У Дома пионеров...»	28
На шелковом пути	29
«Среди равнины...»	29
«Плыла пиала луны...»	30
Безмолвие	31
«В гостях у линий и у чисел...»	32
Что делается	33
«Он жить любил грешно и жадно...»	34
«На стадионе...»	35
Гастроль	36
«Упал кочевник от удара —...»	37
В парке культуры	38
«На октябрьский лес...»	39
Среди Евразии	40
Сказки	41
Колдовство	41
Комната	42
Таинство	43
У самого Обского моря	44
«Надоело мне, надоело...»	44

«Спускаюсь к синему морю...»	45
Декабрь	46
Про белого бычка	47
Каравания	48
Тепловоз	49
Зеркало	49
Квартирант	51
Сказка о встрече	52
Камень	54
Осенние строфы	55
Мельня	55
Мыслечувствия	57
«Я поделюсь печальной новостью...»	57
«Есть печаль – густа, как в сотах мед...»	57
«На этом глобусе отвратная погода...»	58
«Уже однажды был я слеп...»	59
«Для выраженья чувств беру слова я...»	60
«О, археологи! Я гибну...»	60
«Сырая осень...»	61
«Вечерние часы...»	62
«И все простил...»	62
«Я жду конечной остановки...»	63
«Слетела тихая снежинка...»	64
«Я брал ее за тонкие запястья...»	64
«О, сколько нежности ты губишь...»	65
Горесть снега	67

«Ты встанешь – ветру окна отворить...»	67
«Глубокое дыхание колыхает...»	67
«Ликует птаха и полощет в горле...»	68
«Ты повторения не требуй...»	68
«Луну метелью замело —...»	69
«Ночи зимние...»	69
«Ночник лучится в потолок...»	70
«По захоложенному маю...»	71
«Он мне сказал: ее уж нет...»	71
«Свеченье глаз твоих...»	72
«Снег падает, снег ластится...»	73
Перипатетика	74
Веселая осень	74
Рабочее утро	75
«Любите осень...»	76
Точность	76
«Кого хоронят...»	77
«Набраться силы в роще б —...»	78
«Еще в томлении блаженном...»	79
«Пронзила существо мое тоска...»	80
«А день был рыж...»	80
«Весенние кроны...»	81
«Миг печали казался почти беспредельным...»	82
Пришествие	82
У костра	83

Провожая	84
«Изволит августейший август...»	85
Деревенская ночь	85
«От жизни и любви счастливой...»	86
«Уже душа отчаянным...»	87
«Сквозь изгородь и садик...»	87
Обоюдность	89
Ноктюрны	92
«Распахни окно – слуховой аппарат...»	92
«Мороз ночной скрепил узор...»	93
«Смеркли сумерки до мрака...»	93
«Есть предрассветное единство...»	94
«Влюбленный два мира объемлет...»	94
«Люблю прикосновенье трав...»	95
Погудки	96
«Вот со смертью...»	96
Колыбельная	96
Беда	97
Туман	98
Шмель	99
Вербa	99
Снегири	100
Сокол	100
Лебедь	101
Сердцебиение	101
Соседка	102

Муравей	103
Чулоч	103
Мосток	104
Ягодка	104
Прямиком	105
Снежок	105
Березка	106
Табор	107
Ветер	107
Ряженные	108
Страда	108
Похороны	109
Яблоко	110
Зимние тетради	111
I. Посещения	111
II. Путевые заметки	120
«Невозможно много за ночь...»	120
«В монотонные просторы...»	121
«Истощились снегопады...»	122
«Запропали где-то вихри...»	123
«От тишайшей этой стужи...»	124
«На крутую эту выюгу...»	125
«Возвращенье из глубинки...»	126
«О, душа! Ты – горожанка...»	128
Моления о плаче	130
«В ладонях гор нас лета огонь лизал...»	130

«Заводился сверчок вечерами...»

130

Конец ознакомительного фрагмента.

132

**Владимир
Николаевич Бойков
Автопортрет.
Стихотворения. 1958–2011**

© В. Н. Бойков. Стихотворения. 2012 г.

Странствования 1958–1966



В. Бойков с трубкой. 1968.

Рисунок Ю. Кононенко (1938–1995)

Ноктюрны

*Вчера на исходе ночи
от мук избавление мне дали,
И воду жизни во тьме,
недоступной для зренья, мне дали.*

(Хафиз)

«Электрическим потоком...»

Электрическим потоком
из осенней темноты
схвачены дождя косые
струи, да стволы босые,
да прибитые цветы.

Это я за кромкой света
здесь, в саду, а за окном,
за невянущей геранью,
не готовая к свиданью,
ты в халатике цветном.

Это губы мои бредят
каплей с мокрого куста,
но сомкнулись занавески,
и настигли ливня плески

слух, и высохли уста.

«Из потемок осыпаясь...»

Из потемок осыпаясь,
вьются снега звездочки.

Со столбов заулыбались
фонаревы мордочки

И всегда, когда так хмуры
городские февраль,
просыпаются лемуры —
золотые фонари.

«Тучи к ночи почернели...»

Тучи к ночи почернели,
в них теперь луне толкаться.

Строгих тополей шинели,
блузки белые акаций
озаряются порой
на картине моментальной
чужедальнею грозой.

Под окном, рванув из спальни,
восхитил включенный свет
купой роз во тьме восточной.

В эту ночь я знаю точно:
я – действительно поэт.

«Звезды высыпали густо...»

Звезды высыпали густо
невысоко от снегов
и затенькали от хруста
неожиданных шагов.

Шумная компания
дышит постепеннее:
белое дыхание,
внутреннее пение.

Джамбул. 1958 –1959
Новосибирск. 1960

Кратко и кротко

Суть формы

Пришлось заключить
в обрамление стекло,
чтоб свет залучить
и сберечь тепло.

«Нас очищает —...»

Нас очищает —
стыд ли? горячка ли?
лес ли? небо ли?
Если б не пачкались —
чистыми б не были.

«Глазами ушиблась...»

Глазами ушиблась:
– Простите, ошиблась!

Духами пахнула
и отпорхнула.

А я исполнен дум:
– Пора менять костюм...

«Карапузы произвели...»

Карапузы произвели
из мыла пузыри.

Пузыри летят,
карапузы глядят.

Пузыри лопаются —
ресницы хлопаются.

«Необыкновение —...»

Необыкновение —
ветра дуновение,
необыкновение —
неба обновление!

Всюду чудо,
и его внесла
преобыкновенная
весна!

«День раздал все гостинцы походя...»

День раздал все гостинцы походя:
мякоть радости – тем, этим – кость...
А закат – точно пышные похороны,
и звезда – не покрашенный гвоздь.

«Сказал мудрец...»

Сказал мудрец:
– Мы на земле – лишь гости,
в гостях должны мы, становясь добрей,
исполнить сердце плодотворной злости,
так в мякоти плодов твердеют кости.

«Круговорот жестокий...»

Круговорот жестокий
день изо дня:
востекает надежда с востока,
а на западе – западня.

Пейзаж

Ничего себе пломбир:
как на блюдечке – Памир!

«Белье, просушенное стужей...»

Белье, просушенное стужей,
я бурым утюгом утюжу,
дымок над гладким его следом,
и пахнет женщиной и летом.

«Пустой манеж потемками окован...»

Пустой манеж потемками окован,
на краешке с собой наедине
так искренне и удивленно клоун
смеется своим мыслям в тишине.

Новосибирск. 1960–1964

Джамбул. 1963

Танькины рассказы

«Автобус – люлька человек на тридцать...»

Автобус – люлька человек на тридцать.
За стеклами мелькает ночь,
а Танька тайны делать мастерица,
а Танька сон не в силах превозмочь.

Пусть щеку о плечо мое примяла —
ей неудобства хоть бы хны,
ей от соседства требуется мало —
держать за руку, тихо видя сны.

Гордиться я доверием не склонен,
хоть руку сам не всякому даю,
но с этих пор, как простодушный клоун,
я тайну несказанную таю.

«Мне вчера рассказывала Танька...»

Мне вчера рассказывала Танька,
после рыбной ловли возвратясь:
– Выложу тебе я без утайки —

вот такущий мне попался язь!

Знаешь, дождь был с вечера страшенный,
в телогрейки вырядились мы,
добрались до места, совершенно
ливень наши косточки промыл.

Я с улыбкой байки эти слушал,
эти мне не позабыть глаза,
и хотя уши я той не кушал,
и не видел, как рассвет слизал
сажу с неба языком шершавым,
оставляя лишь потеки туч,
и не слышал как листва шуршала
под дождем, реки не видел тушь,
у костра ночного не сушился,
хворост не пододвигал ногой,

но с рассказом Танькиным я сжился —
любю мне, когда большой огонь!

Под дождем, под ночью был он хворый,
огонечек просто – не костер,
выживал, жевал он мокрый хворост,
выжил – а рассвет все стер.

Описать увиденное – тыщи
нужно слов и то б не рассказал,
а она одно мне:
– Красотища!!!

Да еще горячие глаза.

Новосибирск. 1961–1962

К западу от востока

«Удери я к чертовой матери...»

Удери я к чертовой матери,
чтоб дороги меня излохматили,
удери я к чертовой матери
от тебя – на вагоне, на катере...

Мне удрать бы в далекую Индию —
за индуса, глядишь, сойду, —
лишь бы только глаза не видели
этих бешеных весен беду,

Но куда от себя мне деться,
от моих на тебя молений?

Мне одно лишь целебно средство —
взять уткнуться тебе в колени.

Охота

Закат жар-птицей по волнам
рассыпал перья пламени,
но постепенно полинял,
и небосвод стал правильной.

Я жадно ждал: взметнется дичь —
по небу точек россыпь,
хотел я дробью дичь настичь,
схватить и в лодку бросить.

И ствол меж черных камышей
косился черным козырем,
и вот отчетливой мишень
над темным стала озером.

Я не сорвал, нажав курок,
урок естествознания,
и шлепал борт, и был гребок
куда весомей знамени.

Валялось на корме ружье
без улетевшей дичи,
азарт лишь, схваченный живьем,
был подлинной добычей.

Гробница

Громады Тянь-Шаня – немые симфонии,
замерли скалы – застигнуты в пляске,
реку дробят водопадов сифоны,
осипший Талас рвется в поисках ласки
на север,
на степи.

Там воздух из видимых запахов соткан —
полыню и дымом аулов прогорк,

там тянется к солнцу слепая высотка —
последний аккорд замирающих гор.

Давно-предавно джигит —
удал, но беден он был —
себе на беду полюбил
красавицу Джизубигит.

Поклялся:
– Будет калым!

А утром другого дня
в степи лишь следы коня
и дали окутал дым.

А там за походом поход,
за годом – другой, и вот
пора удальцу назад,
хорош и уже богат —
хурджин золотыми набит.

Довольный, гонит коня,
а утром другого дня
вести невесте:
– Обидно бытыр убит...

Ночь тихо плетет паутину из звезд,
немой карагач к небу руки вознес,
недвижные стражи – стоят тополя,
полынно-долинно пахнет земля.

На четкой высотке печаль бледнолица,
луны отраженье под белой гробницей,
и отзыв Таласа на вздох из-под плит:

– Джизубигит... Джизубигит...

В горах

«Мы ходим верхами...»

Мы ходим верхами,
мы ходим низами,
находим архаров
одними глазами.

Мы ходим с ружьем,
бутерброды жуем,
запивая кипящим
в каменьях ручьем.

Мы желаем запоем
слушать звоны цикад
и навечно запомнить
цветущий закат.

Раскатаем потом
этот яркий ковер
так же, как разожем
этой ночью костер.

«С чистой музыкой сверь...»

С чистой музыкой сверь
в звездных высях светание —
этих грифельных сфер
на глазах выцветание.

Над пустотами свет,
просквозив, задевает
гребни гор, и хребет
за хребтом оживает.

Но слепящий раструб
солнца в зыбкости рани —
за уступом уступ —
обнажает их грани
и не глянет туда,
где во мраке ребристом
неизбежна вода
в прыжке серебристом

«Тонехоньки рученьки —...»

Тонехоньки рученьки —
прутики-урючинки,
из-за дувала выглядывают —
новости выкладывают:

урюк цветет!

По прогнозам
быть морозам —
для старух
страх,
а урючина цветет
в пух,
в прах!

Розовая жуть —
радуется жук!

Звонят на урок:
цветет урюк!

Видать, и в Сибири
капли забили
радугой в лед:
урюк цветет!

«У Дома пионеров...»

У Дома пионеров,
проскрежетав по нервам,
горит,
горнит
в руках у Рыжего,
который горд, —
горн!

– Эй, Рыжий, дай

побаловаться горном
с охрипшим горлом!
За мной не пропадет —
найдется вдруг струя
в дыханье горьком,
которая
по-детски пропоеет.

На шелковом пути

«Среди равнины...»

Среди равнины
торчат упрямо
орлы на руинах
дворца или храма.

Палящий полдень,
попынь да пыль,
ленивому поддан
ветру ковыль.

Варан разъярен —
ворохнулся бархан,
звон-позвон-перезвон —
идет караван.

Несут купцы
бород ножи,

усов ножницы.

Впереди – миражи,
и грезится отдых
на верблюжьих мордах,
на горбах же – скопцы
и наложницы.

Э, эмир нашел,
что менять на шелк!

«Плыла пиала луны...»

Плыла пиала луны,
сочилась кумысом степь,
и мучились валуны,
оставленные толстеть.

Причудливых теней провал —
очерчивался привал.

Немела монета луны,
но тысячезвонна степь
и тени иные вольны
разбойничье просвистеть.

Косились купцы на луну,
ощупывая мошну.

Бледнеет лицо луны —
булатом сболтнула степь,
в тени меж тюков пластуны,

сладка степная постель —
полынь, аромат, дурман...
Проспал даже смерть караван.

Безмолвие

Ночь.

Степь.

Дорога.

Здесь луну

совсем недавно провезли,
напросыпали, натрясли
серебряную тишину.

Идем как будто по луне,
навстречу кустики встают,
и ни словца —
не узнают,
идем вдвоем по тишине,

Над степью серебристый флер,
распространяемый луной,
но мы идем ко тьме сплошной
под горизонтом черных гор.

Мир обновим там из костра,
багрово-желтые мазки
на живописные куски
заменят скупость серебра,
жесть алюминиевых лиц

набрякнет кровью черепиц,
свод неба рваные дымы
начнут качать...

Шагаем мы
в ладу с безмолвием степи,
вдруг приостановясь, поймем
свое молчание вдвоем
как недоступные стихи.

Степь...

«В гостях у линий и у чисел...»

В гостях у линий и у чисел
я почитаем здесь – учитель! —
и за спиной сопенье глаз:
восьмой мой класс.

Исчерпав дело
и суть вопроса,
девчонка села.

Все это просто,
да разве ж серо!

Мой класс – мирок,
доска, мелок:
– Стучи, милок!
(чему подобно
на стыках дробны
и поезда,

НО КОСНЫ, КОСНЫ).

Доска – нам космос,
мел – звезда!

Что делается

Цветы на газонах шутами
танцуют, и сердится шмель.

Шатает дома и шатает
деревья неведомый хмель.

От ветра – ответ вероятный —
в аллеях отсутствует сор,
от ветра и грозные пятна
уходят с небесных озер,
от ветра и солнечный обруч
под моточиханье и треск,
пылая над крышами обочь,
на свой возвращается трек.

Откуда он, резв и приветлив,
тот ветер? Да что за вопрос!

Конечно же город проветрил
качелей воздушный насос,
где платья скрипучим маршрутом
то лепят фигур горельеф,
то вспучиваются парашютом,
упружьями ног засмуглев.

Не лужа, а сброшенный вымпел

с высот – синева разлеглась,
и жук, любопытствуя, выполз,
выпуклый словно глаз.

«Он жить любил грешно и жадно...»

*Порваны струны гитарные, порваны,
Песни неспетые плавают в памяти:
– Вороны черные! Старые вороны!
Что продаете вы, что покупаете?*

(Ю. Шпильберг)

Он жить любил грешно и жадно,
но все кончается однажды,
и мир, который нажит,
бунтует беспощадно.

Вот шупальца пружинят под обивкой,
стол виден плахой, плащ висит наживкой.

Страх побежденный надвое расколот:
предощущаем бритвы острый холод,
и жарко сердце хочет биться.

Все решено самоубийцей.

Хотел он боль души избыть
и боль и прошлое забыть,
и бритва, что притягивала взгляд,
вдруг греется о горло наугад...

С самоубийцей этим я знаком, —
желанье жить есть божеский закон,
дающий волю пуле, и петле, —
он в неутешном выжил феврале.

«На стадионе...»

На стадионе
ветер студеньый,
день у солнца на кончике,
а на старте
клок тетрадошный, скорченный
от любви не наставшей.

Отпредавшись восторгу свистания —
все полегче им, —
разошлись по домам и свиданиям
все болельщики.

Наступает пора новых матчей —
часы встреч,
и томится долговязый мальчик
между плеч.

Я, болея за нашу команду
и не чая ничьих,
слышу, слышу весны канонаду
в недалекой ноци,
потому что болельщик просто
за любовь:

– Целый час в твою пользу, подросток,
эта боль!

Гастроль

Над бутафорским датским королевством
мышей летучих лоскутки —
беззвучные аплодисменты.

Нет зрителей – ряды молчащих Гамлетов
сверяют свою совесть с той, мятущейся
на сцене ветхой, словно в мире целом
восстали тени сгубленных отцов.

Незримыми терзаемый страстями
рассудок сам – наполовину страсть:
как быть?..

Да разве ж не завидней одержимость
безумного испанца из Ламанчи?!

Над бутафорским датским королевством
угасли фонари, рукоплесканья
иссякли, выставились звезды.

Нет Гамлета – немолодой актер
стирает грим, в аллее из партера,
безмолвствуя, уходят эльсинорцы.

День завтрашний приподнимает плечи:
как быть?..

«Упал кочевник от удара —...»

*Учитель, странствуя, решил закусить у дороги
и, отогнув полынь, заметил столетний череп.
(Лецзы)*

*В этом черепе был когда-то язык, его
обладатель умел петь.
(В. Шекспир. «Гамлет»)*

Упал кочевник от удара —
и покати́лась голова
и черным оком увидала,
как перекрасилась трава.

Тот, кто ее булатом узким
перехватил у кадыка,
мог знать, какая звездным сгустком
в зрачках отчаялась тоска.

О чем?

Не знаю – мне ли через
тысячелетие пробиться!

Нет, не донес безвестный череп
мне весть в пустых теперь глазницах.

Мне б самому в той схватке скорой
и уловить, отринув злость,
тоску по родине, которой
ему объять не удалось.

В парке культуры

Какой денек!

В аллее за фонтаном
обрызган солнцем свежепобеленный,
с приветственной рукой
скульптурный мальчик:

– Салют!

– Салют!

В какие занесло меня века?

Поблизости играют пацаны,
шевелится во мне страшок забытый —
что, если, палец на меня нацелив,
один из них вдруг выпалит:

– Замри!

И я замру (куда ж деваться – с детства
такой есть уговор).

– Эй, оголец, взгляни-ка:
на пьедестале вон ровесник твой
(когда-то был моим и всей эпохи даже) —
в трусах и с галстуком на шее,
всегда готов на все, он гипсов словно шина
на переломе.

Что, если он устал салютовать, —
живая кость давно б уже срослась, —
так, может, разрешить: мол, отомри!

Не отомрет, конечно, нет,
а все же...

«На октябрьский лес...»

На октябрьский лес,
на опавшее зарево листьев
снежный сонм от небес
до земли ниспадает неистов,
в мельтешении белом,
в тихой дреме березы седы,
им, расцвеченным мелом
розоватым, не снятся ль сады
или горные скулы,
на которых красуются зори,
иль узоры аулов
в золотистых туманах предгорий.

Там, где все еще лето
и сияет луны медальон,
не закрался ли это
повзрослевшей возлюбленной в сон
восхитительный хмель
первой нежности и поцелуя,
через тридцать земель
коим страсти не утолю я,
не смогу под ногами
ощутить я планеты летучесть:

под ли, над ли снегами
злых времен пребывать – счастья участь.

Среди Евразии

Г. Прашкевичу

Вам привезут невзрачный камень
и скажут, сдерживая пыл,
что камнем тем прапапа Каин
прапапу Авеля убил.

Вам привезут коробку с прахом
из фараоновых гробниц
и скажут с хохотком и страхом,
что пылу древних нет границ.

Не позавидуйте счастливым
и гляньте под ноги себе:
приют здесь вечный стольким лицам,
пылившим в мировой судьбе!

Новосибирск. Джамбул. 1960–1964

Сказки

Колдовство

О, зори озера —
рыбы отплески!

А во лазори
глыбы-облаки.

Око опрокинь
на берегинь:
ой, озоровать —
во озеро звать!

К берегу гребни,
бери грибы.

Росу вороши,
грозу ворожи.

Дождаться дождецу,
политься по лицу —
заберется бусым
к березам босым.

Просьба вымолвлена —
проса ль вымолено?

На озерную гладь
летят зерна, глядь!

То ж скупой

дождь слепой.

Солнце вьется,
лучится, как луковица!

Тсс!..

Зовется,
кричится, аукается...

Напрягают пичуги
связки,

и сбегают испуги
в сказки!

Комната

Я заболел, и мир весь
свернулся в комнату:
в шкафу вздыхали вещи,
на полотенце пела птица,
и свесил уши телефон.

Здесь всех времен хватало:
два фикуса хранили лето,
ковер, как осень, был цветист,
зима ж царила всюду —
среди побелки стен
сугроб моей постели,
лед зеркала и в нем
мир вмерзших отражений.

Окна прямоугольник

являл мне то весну,
то ночь кромешную.

Но мне – зачем, не знаю —
не доставало звезд.

Тайнство

Т. Янушевич

Огонь плясал свой ритуальный танец
на красных сучьях, красные березы
вокруг, и двое краснолицых молча
глядели друг на друга сквозь огонь.

На косогоре танцевало пламя,
и воздымала осень свой огонь,
и двое тех, что высоко безмолвны,
на двух кострах – горячем и холодном —
два клятвенных сосуда обжигали
для трех заветных и негласных слов.

Зола давно травую поросла
на том высоком и веселом косогоре,
но осень продолжает клятвам верить
и жжет костры, которые не пляшут,
и из сосудов просятся слова.

У самого Обского моря

«Надоело мне, надоело...»

Надоело мне, надоело
на постели отлеживать тело.

На дороги, пожалуй, выйду,
а дороги куда-нибудь выведут.

А на улице ночь как ночь
и порывисто нежный дождь.

Я иду по центральной улице,
по-щенячьи ветер балуется.

– Ну, отстань, дурачок! До тебя ли!

Надо кепку на брови натянуть,
надо руки поглубже в карманы
и туда – за обочье, в туманы.

Да, такие у нас уж улицы,
необросшие домами.

Да, такие у нас уж улицы:
за обочье – и ты в тумане.

Погружаюсь в стоячие стаи,
создающие белый мрак.

Но светает.

Светает, светает,
и они отступают в овраг.

Настелясь на рассветные воды,

исчезают в море они,
на котором живут теплоходы,
за которым желтеют огни.

Да, такое у нас уж море —
в нем вода пресна и мутна.

Да, такое у нас уж море,
что заморская даль видна.

Наше море – все-таки море,
не такое уж и немое.

От него беспокойством пахнет,
перелесками пахнет и пашней.

Ну-ка, с берега призову я
золотую рыбку живую
и себе, наберусь-ка духу,
у нее попрошу старуху.

«Спускаюсь к синему морю...»

Спускаюсь к синему морю,
сажусь на песок мокрый,
загадываю пожелание,
выкладываю заклинание:

– Далеи-Вазалей, владыка морей,
удачу-владычицу шли поскорей!

Сам же – взрослый, крученный-верченный, —
потешаюсь над сказкой доверчивой,
бормочу заклинанье с улыбкой...

– Дзинь!!!

Ослеп я, оглох, осип —
загорелись на води зыбкой
сонмы, сонмища золото-рыб!

Вот они на волнах играют,
вот они на меня набегают,
поворачиваюсь назад —
солнце!

Солнце!

Солнце в глаза!

Неожиданны и горячи
в волны выпущены лучи!

Получи!

Декабрь

Всю ночь ревел голодный зоопарк —
слоны трубили, волки люто выли:
пусты кормушки, ясли, кладовые,
куда-то и смотритель запропал.

Когда же в классах окна проявили
и ночь устало встала из-за парт,
тогда уже и клетки опустели,
и даже тех с рассветом не нашли.

Что ж, ночь ушла, и вместе с ней ушли
и голоса звериные метели.

Про белого бычка

Сказка начинается,
как в одном краю
девочка качает
куклу свою:

– Баю-бай-баю!

И расскажет сказка
про быть-старь:

– Вот тебе краски
и букварь!

Белое облако,
зеленый сад,
красные яблоки
на ветвях висят.

– Не рисуй яблоко —
то запретный плод,
нарисуй кораблик,
домик, самолет!

Но сады мужают
и стучат в окно,
их плоды вкушают —
так заведено.

Сказка продолжает,
как в ином краю
мама качает
девочку свою:

– Баю-бай-баю!

Каравания

Время странное, время раннее,
а вокруг-то – страна Каравания.

Степь верблюдов несет, те – поклажу,
и невольниц, дразнящих стражу.

Ах, никто-то на них не позарится —
евнух глаза не спустит с красавицы.

Всю пустыню пока не облазишь,
не отыщешь зеленый оазис.

А в оазисе – настоящий рай,
а какой там покой – караван-сарай!

И обычаи у владыки
сколь изысканы, столь и дики:
так и следуют – чаша за чашей —
крепкий кофе, шербет сладчайший.

На змеиную магию танца
посмотри – ты не зря скитался!

О, осанна! Подобной осанки
в мире нет, как у той караванки!

Щедр эмир:
– Вай! Прими мой подарок!

Как в отарах несчетно ярок,
так в серале – ее товаров...

Время раннее, место странное,

обиталище караванное!

В Каравании той – лишь я да кровать!..

Позаспался и самое время встать.

Тепловоз

Локомотив, локомотив —
в нем ритм главное, не мотив!

Леса, шлагбаумы, дома —
машину мимо проносило
организованною силой
железа, нефти и ума.

Вперед! вперед! – манил простор,
но непреложен семафор.

Движенье стало тяжелеть,
и затихали, еще жарки,
бока, как у коня в запарке...

И мне, как зверя в зоопарке,
его хотелось пожалеть.

Зеркало

У подъезда нашего – лужа!
Каждой весной появляется,
проявляется с каждым рассветом,

вместе с ним выцветая,
пестреет на солнечном ветерке —
лиловая, черная, голубая!

В затишье она идеальна
(идеальность идеалов подчеркивают
окурки в бензиновой бездне) —
это зеркало встреч
двойников ежевешних со мной.

Над яблоком надкушенным —
доедать ли? – раздумываю.

Хочется хрусткого,
настоящего яблока,
что заставит меня
не сутулиться – спину
освободить от пальто,
дать свободу глазам
от очков и узреть
вместо зеркала
с огрызком яблока
в грозовых облаках
место мокрое —
стоит дворнику
выдворить мусор,
как вслед за ручьями
сбежит и весна!

А в незримом заоблачьи
назревают медлительно
молодильные яблоки.

Квартирант

Сдается тело, мол, – повесил
я объявление на столб,
и некто этаким повесой
пришел и оперся на стол
безвидным задом:

– Вы хозяин? —

и взглядом вдоль и поперек
меня обмерил:

– Да-с, дизайн!...

Но, впрочем, бедность – не порок.

Я говорю:

– Не постоялец

мне нужен – дружественный дух,
а то иному дай лишь палец...

А он:

– Я нужное из двух!

– И чтобы – говорю – был весел,
на юбки чтобы не глядел...

– У нас, хозяин, – он ответил —
полно своих, духовных дел.

На том срядились мы, и в тушу
вселился квартирант как есть.

Живем душа, казалось, в душу:

– Ты здесь? – спрошу, в ответ он:

– Здесь!

Но как-то ночью – бац! – проруха:
– Ты здесь? – спросил...
И ни словца!
Зудит в силках паучьих муха,
а духа нету, стервеца!
Про то, что я горяч в расправе,
не знал, конечно, дурачок.
Я сети хитрые расставил,
но сам попался на крючок
и влип – по самую макушку —
в его лукавое житье:
в сетях милуется он с душкой,
а я – с хозяйкою ее.

Сказка о встрече

Шел мужественный и высокий,
и строгий шов
по ворсу вымокшей осоки
шел от шагов,
и прошивал он покрывала
зим и степей,
когда ж весной следы смывало —
след цвел сильнее,
летописал цветною нитью
на том ковре,
как вместе с ночью по наитью

он шел к заре.

Простоволоса, в светлой дымке
шла хороша,
и в лад судьбе-неуловимке
певуч был шаг,
играли два грудей овала
в огне воды,
волнение плеса целовало
ее следы,
и там, где краснотал качался,
к заре другой
путь меж кувшинок означался
водой нагой.

Вставало солнце удивленно,
как желтый слон,
деревьев тени, как знамена,
кладя на склон,
а птицы и ручьи болтали,
что – не понять.

Что ж встреча тех двоих – была ли?

Как знать, как знать...

О встречах слыхивал, не скрою,
коротких, ах, —
заря встречается с зарею
на северах!

Камень

А. Тицину

Сухой язык прилипнет к небу.
Придя к мохнатым валунам,
молча от ярости, я злобу
на камни выхлещу сполна.

Плеть сыромятная просвищет,
мох прыснет с каменного тела,
но лопнет злое кнутовище,
повиснут руки опустело,
и станет стыдно...

И преданья
идут к остывшей голове
о милостивом божестве,
что избавляет от страданья:
коснется золота на миг
и роем пчел запламенеет,
а исцеляя горемык,
само от горя каменеет.

И стыдно мне.

Возьмусь руками
и чувствую – вздыхает камень.

Осенние строфы

Твоя пора, потешная игра, —
с теплом отходит лето под экватор!

Как на гравюрах из времен Петра,
небесные баталии косматы,
и бреющие на земле ветра!

Весна приходит, лето настает,
по-королевски осень выступает
и золотом как будто осыпает.

Но снег вот-вот на голову падет,
а королева голая идет!

Мельня

У струй замшелых рек,
что начинают бег
водою ключевою, —
на мельнице забытой
творится время все – нехватка и избыток,
все бремя времени, на все живое.

Великий Мельник сносит непрестанно
в помол грядущего зерно,
в котором – первоизданно —
изменчивое с вечным сведено,

и мелево выносятся на форум
и пожирается немедля хором,
в котором нет числа мирам и меры временам,
в мрупчатка жизни сыплется и нам.

Напряг безостановочен работы,
нет роздыху, не сбавить обороты:
и жернова прожорливо скрежещут,
и колесо скрипит, и плицы мерно плещут,
и с желоба язык струи, свисая, блещет
от солнц и лун, сменяющих друг друга,
и мудрая вода бормочет без досуга:
– Запрешь на миг, вовек не отомрешь —
беги, пока бежишь, хотя б и невтерпеж!..

Мне слышен этот голос поневоле,
тварь божия – бодлив я, да комол
и невелик, а все же мукомол
доставшейся мне доли.

Новосибирск. 1962–1966

Целиноград. 1965

Мыслечувствия

«Я поделюсь печальной новостью...»

Я поделюсь печальной новостью:
из честности я болен совестью.

Любви к тебе предаться не решился,
вдруг разлюбить и тем предать страшился.

Я мог бы этой честностью гордиться,
но трусости нельзя не устыдиться.

Над горькой размышляю повестью:
как честность обернулась подлостью?..

«Есть печаль – густа, как в сотах мед...»

Есть печаль – густа, как в сотах мед
или плач янтарный сосен жарких,
есть глаза – как первый утлый лед
в колеях, разведших осень в парках.

Горесть, сладость – в сердце про запас
нам, как для зверенышей игривых:
медленно мигнул "павлиний глаз",
ощетинив у щенка загривок.

Но о том, что кончилась игра,
осень объявления расклеит,
и наступит пресная пора,
и волчонок за ночь повзрослеет.

Пусть дождем разбавится печаль —
я утком втянусь в его волокна
и поставлю глаз моих печать
на твои заплаканные окна.

Будет чем твои приправить сны,
если станет выюга "ю" мусолить, —
ведь, наверно, хватит до весны
вымерзшей на стеклах страстной соли.

«На этом глобусе отвратная погода...»

На этом глобусе отвратная погода,
он отсырел в путине облаков.

Я выжидаю время для похода
в становище безоблачных богов.

Могла бы быть посолнечней планета,
взять на Меркурий, например, билет.

Ничем не омрачается там лето,
но без тебя нигде мне света нет.

«Уже однажды был я слеп...»

Из глубины...
(Псалом 129)

Уже однажды был я слеп:
слепые слезы мочат хлеб,
и хлеб тот рот слепой жует,
и дрожь слепые пальцы бьет...

Начало первое даря,
пришло плечо поводыря —
вело на трепетный огонь
мою озябшую ладонь.

Но ты, придя, не умолчала,
что есть еще губам начало:
твоим я научался телом,
ваял его я в сердце – целым,
сиятельным, объятным, милым,
и знал – оно должно быть миром.

Однако плоти есть предел,
и я от ярости прозрел
(до совершенства был я жаден),
но свет и щедр, и беспощаден,
а нищий мир – лишь разодет,
и я отгял от сердца свет,
и нет обиды, нет вины
идущему из глубины.

«Для выраженья чувств беру слова я...»

Для выраженья чувств беру слова я:
томлюсь, надеюсь, жалоблюсь, терплю...

Пустое и порожнее сливая,
единственным все выражу: люблю!

Поверят ли:

– А злость, а жажда мести,
а нетерпимость, а презренье где ж,
и, значит, не винительный уместен,
а некий извинительный падеж?

Перенесу хоть сколько операций —
пусть ищет спецбригада докторов
живую душу в нервном аппарате!

Душа как сеть, слова – ее улов,
в том словаре (уже не удивлю)
как сердце сотрясается: люблю!

«О, археологи! Я гибну...»

О, археологи! Я гибну!
Я раб какого-то Египта,
которого в раскопах нету,
который занял всю планету!

В Египте том, где жар и пламень, —
я раб, я мотылек, я планер!

Но так сперва.

Я раб, я робок, я дрова:
покорно я готов гореть —
возлюбленную обогреть.

Я раб, горю – теряю образ,
пылаю – прогорают ребра,
люблю и гибну – помогите!..

Не надо!

Это я дую.

Огня властитель в том Египте —
возьму от сердца прикурую.

«Сырая осень...»

Сырая осень.

В запутанности рощ,
среди осин и сосен
трунящий дождь
несносен.

Твоя единственная прихоть —
ты солнца ждешь.

Я во вселюбьи слаб,
чтоб крикнуть:
– Остановись, дождь!..

«Вечерние часы...»

Вечерние часы.
Верченье цифр
на диске телефона —
твой вызываю образ,
чтоб утро было добрым,
или тебе трезвоном
накручиваю нервы,
или таким манером
в тупик загоняю
старенький паровоз любви.

«И все простил...»

И все простил.
Ушла необходимость
прозрачной дыма зимних деревень
и вместе с верой в чувств неохладимость.
И призрachen уже вчерашний день,
когда не мыслил жизни я иначе —
быть в целом мире лишь с тобой вдвоем.
Тобой одной простор я обозначил
и слышал бездну в имени твоём.
Теперь не помню странные обиды,

что нам с тобой не стоили седин,
и горем мы с тобою не убиты.

Но я теперь на целый мир один.

И все простил.

Ушла необходимость
прозрачной дыма зимних деревень.

Снегам не знать следов неизгладимых,
но шапку все ж не сдвинуть набекрень.

«Я жду конечной остановки...»

Я жду конечной остановки
и пассажирский тороплю,
я жду неспешной обстановки,
чтоб написать, как я люблю.

Чтоб написать, забыв обиды,
что дом, где я живу, тосклив,
сады ж отзимками побиты
и, видимо, не будет слив...

Я жду конечной остановки
и забежать вперед спешу,
но это жалкие уловки —
я никогда не напишу.

На полустанке я наполню
водою свежую сюжет —
начальной станции не помню,
и в даль простерт путей скелет.

«Слетела тихая снежинка...»

Слетела тихая снежинка
на меховой твой воротник,
а на виске играет жилка —
незамерзающий родник.

Да я и сам – что лес морозный
с ручьем под снежной пеленой:
струится воздух папиросный
над обнаженной быстринной.

Как хрупко все!.. А в доме жарко,
и хоть апрель еще далек —
блеснуло с ворса слезкой жалкой
и расставаньем с мокрых щек.

«Я брал ее за тонкие запястья...»

Я брал ее за тонкие запястья,
их совершенно просто целовал.

Я этого никак не называл,
а в книгах – почитается за счастье,
и там еще об этом говорится:
все в первый раз – потом не повторится!

И на заре меня попутал бес.

В неповторимость счастья не поверив,
захлопнув книгу, распахнул я двери —
ну, что ж, проверим правоту небес:
все в первый раз – потом не повторится!

Не довелось мне к ней же воротиться,
дверей знакомых вновь не открывал.

Я осознал, что повторимость – счастье,
когда ее за тонкие запястья,
случалось, брал и просто целовал...

«О, сколько нежности ты губишь...»

О, сколько нежности ты губишь
в моих губах, в руках моих,
когда твой голос, глух и тих,
мне говорит, кого ты любишь.

Как будто рядом, а глазами
ты вся в качании берез,
тогда печаль твоя слезами
за горло и меня берет.

И нам обоим нужен выход,
и соблазнительно горька
твоя рассеянная прихоть —
к моим губам твоя рука.

Новосибирск. 1962–1965

Джамбул. 1963

Горесть снега

Памяти Милы

«Ты встанешь – ветру окна отворить...»

Ты встанешь – ветру окна отворить;
увижу, как заутренние дали
глазам твоим освобождение дали,
и стану говорить,
что нелюбовь честней полулюбви...

Ты, глядя на закатную зарю,
где выгорают облака-скитальцы,
мучительно заламываешь пальцы,
и вот я говорю:
– Несчастней нелюбви полулюбовь!..

«Глубокое дыханье колыхает...»

Глубокое дыханье колыхает
июльский сад,
он кроной ритмы сонные вдыхает,
и листья, чуть взлетая,

шелестят,
и мотыльки к дыханию летят,
возносятся, в открытых окнах тая,
дыханием слепой ночник обвит.
Спит женщина в объятии любви.

«Ликует птаха и полощет в горле...»

Ликует птаха и полощет в горле
отраду лета – где-то здесь, в кустах.

Сбегаешь ты на берег с крутогорья,
и осыпается песок в следах.

Вот все примрет – едва лишь платья складкам
упасть у ног, лишь тронуть ветвь руке —
над долгим "и" испуг вспорхнет "и" кратким!

А я божок приречный в лозняке.

«Ты повторения не требуй...»

Ты повторения не требуй,
не переспрашивай, люблю ли.

Сомненье притаилось слепо
и слухом чутким караулит.

Лишь тот, кто чувства не питает,
пустое ищет уверенье.

Тогда прозренье опадает
и прорастает подозренье.

«Луну метелью замело —...»

Луну метелью замело —
и нет предмета волчьих песен,
покой округе обеспечен.

Пространство прежнее ушло
в себя, и здесь мне не ко сну,
лишь без тебя здесь нету света,
и что мне до того предмета —
метелью замело луну.

«Ночи зимние...»

Ночи зимние.
Звезды сквозные.
Бесконечные острия.
Не оплачут печали ночные
ни метелица, ни плачя.

Мир живой и ушедший восходят
с двух сторон их внимающих глаз.

И обменяется жар мой на холод
твой в мирах, совмещающих нас.

Свечи теплятся здесь, а напротив —
два печальных, два тонких плеча,
неразумною мыслью о плоти
ослепляя и горяча.

«Ночник лучится в потолок...»

Ночник лучится в потолок,
чернеется окна страница,
и, словно мысль моя, кружится
полуослепший мотылек.

– Моей бессонницы наперсник,
с какой ты прилетел звезды,
больного образа соперник,
его затмить стремишься ты,
но с наступлением рассвета,
вонзившись, затрепещет нож,
и ты в нездешнем мире где-то
прообраз образа найдешь...

А день и вовсе недалек,
и солнце тянет луч, раздобрясь.

Передо мной все тот же образ —
полуослепший мотылек.

«По захоложенному маю...»

По захоложенному маю,
где рыжим почкам невтерпеж
в зеленую одеться дрожь,
иду и память обнимаю,
и холодею на ветру,
и выстываю, словно печь,
но в памяти есть память рук
с теплом твоих янтарных плеч.

Иду и прикрываю веки,
тебя за веками держу —
меня, слепого, хлещут ветки,
но я тебя не покажу,
самим собой тебя окутав.

Обыкновенным притворяюсь,
иду, с ума схожу, как будто
я вор, укравший в первый раз.

Иду наедине с тобою,
но вздох уже далече твой:
приду в себя, глаза открою
и не увижу ничего...

«Он мне сказал: ее уж нет...»

Он мне сказал: ее уж нет.

А я не мог понять.

Шел белый снег из тьмы на свет

и все хотел обнять.

Мне молвила через порог,
что полюбила вдруг.

Я обернуться к ней не мог.

Но вот замкнулся круг.

И нет ее.

А я живу

и не могу понять,

как смерть посмела синеву

у дней живых отнять.

«Свеченье глаз твоих...»

Свеченье глаз твоих...

Я был на что-то зол, —

теперь уже не помню, — я пришел
тебя встречать и приготовил злое,
но все забыл и смолк на полуслове...

На полуслове смолк — в меня вошло
свеченье глаз твоих: сквозь сумрачное зло
моей души проникло и легло
в укроме самой, дожидаясь дня —
вновь засветиться и простить меня...

Свеченье глаз твоих, свеченье твоих глаз!

«Снег падает, снег ластится...»

Снег падает, снег ластится,
на языке сластит.

Зима в венчальном платье —
лукавый глаз блестит.

Кому с ней быть сосватанным —
с утра сойти с ума:
уже под белым саваном
лежит его зима.

Джамбул. 1964

Новосибирск. 1965–1967

Целиноград. 1966

Перипатетика

Веселая осень

Поветрию осенних
веселое дело!

Листва на осинах
совсем обалдела,
и солнце в листве
как бенгальский огонь,
и знак на шоссе
запрещает обгон.

А я тороплюсь
обогнать свои мысли,
а я не боюсь
уподобиться рыси,
чтобы, в чащобе
таежной играя,
рычать и визжать,
бытие выражая!

По осени пестрой
скорей за шоссе —
на сказочный остров
в лесной полосе.

На рыжую хвою

упав, отосплюсь
и, может, усвою,
зачем тороплюсь:
консилиум сосен
пусть оглядит
и вынесет осень
веселый вердикт!

Рабочее утро

Зимний рассвет —
это свет
незрелый,
хрусткий и белый.

Это обочин огромность
в сугробах
и озабоченность
машин снегоуборочных.

Это деревьев нескромность
в морозных оборочках
там, за фигурами в робах,
в пальто на ватине
и в шубах.

Это яблок бесшумных
подобием – иней,
выдыхаемый густо.

Это воздух, набухший до хруста.

Это я в эту облачность долю
вношу:
и дышу,
и глаголю!

«Любите осень...»

Любите осень.

Дождь любите.

Со страстной грустью он асфальт
исцеловав, со всех событий
смывает суетность и фальшь.

Предметы, принципы, природа
и откровенней, и общей,
и отраженья колобродят,
отторженные от вещей.

Любите дождь.

Дожди – поэты,
слепцы, снотворцы, плясуны,
их песни петы-перепеты,
а все кому-нибудь нужны.

Точность

Я в средоточье медленных событий,

где распускание бутонов нарочитей,
чем время зримое в тех пузырьках с песком, —
по мигу лепесток за лепестком
и за цветком цветок, другой и третий, —
томительно рождение соцветий.

Что деется с той женщиной цветущей:
едва забылась над водой текущей,
лицом и грудью к ней устремлена,
как струями витая быстрина
остановилась, – тут же ненароком
та женщина летит к ее истокам.

Не для моих и жадности, и лени
такие тонкости в несчетности явлений,
вниманию доступных в каждый миг,
поэтому вперед и напрямик
я корочу подробностей цепочки
и говорю:
– Весна. Взорвались почки.

«Кого хоронят...»

Кого хоронят?

Человека?..

Труп!

Над ним глаза сопливенькие трут.

Умру и я какой-нибудь весной,
и станет трупом то, что было мной.

Исчезну я – все станет не моим.

И труп, и имя – просто псевдоним
покойника со смертного одра,
чья до могилы бытность и игра.

А гроб с покойником там с плеч долой:
ему домой и остальным домой,
и незаметно с каждым в его дом
вкрадусь и я – памятный фантом.

«Набраться силы в роще б —...»

Набраться силы в роще б —
там корень или ветвь,
живущие наощупь,
меня сильнее ведь,
безмысленной (не глупой)
там жизни кутерьма.

Моя ж любовь к безлюбой —
беспомощность сама.

Меж холодом и светом
мембрана дерева
в неведение продета,
а я же без конца
и сердцем беспокоен,
и совестью слаб.

В соведение такое
трава не забрела б:

ей на земле хватает
соседства – и чужда
взаимность чувств пустая,
в которой мне нужда.

Спешу до наступленья
потемок в угол свой
к отваге осмысленья
повинности живой.

«Еще в томлении блаженном...»

Еще в томлении блаженном
светло раскинулась река,
и над своим изображеньем
остановились облака.

В них обещанье грозной драмы
и барабанного дождя,
но дремлют лиственные храмы,
берез колонны возведя.

И тем из рощи – на побережье
крутом – не насторожен взгляд,
как свет сквозь влажный воздух брезжит
на эту тишь, на эту гладь.

И к шумно вдруг вскипевшим кронам
глаза невольно вознеслись:
играет дождь в плену зеленом —
с листа на лист, с листа на лист!

И ты, гармонии искатель,
из плеска музыку творя,
не замечаешь, что из капель
играющих одна – твоя...
одна – твоя...

«Пронзила существо мое тоска...»

Пронзила существо мое тоска:
живое чувство носят в сердце люди,
в себе и я, как в потаенном чуде,
и тайна несказанна, хоть близка.

Имея ту же самую природу,
пронзила существо мое тоска,
неистово клокочет у виска,
и рвется на смертельную свободу.

Пронзила существо мое тоска,
которую не вывести бумаге, —
как безысходный родничок в овраге,
пульсирует в душе моей строка.

«А день был рыж...»

А день был рыж.
Кружило солнце промеж крыш

лисой, играющей хвостом.

Подумаю – зажмурюсь:
день был хорош!

«Весенние кроны...»

Весенние кроны
еще лишь на днях
висели зеленым
дождем на ветвях.

Я знаю два самых
чарующих дома:
там сумерек запах,
здесь воздух черемух,
там зритель я завтра,
здесь нынче актер, —
кулисы театра
и леса шатер!

В излюбленном блещет
вода эпизоде,
листва рукоплещет
прекрасной погоде,
и я с той галеркой
согласно томим
негромкою ролькой —
собою самим.

«Миг печали казался почти беспредельным...»

Миг печали казался почти беспредельным,
сладко пели сирены в течение метельном,
я поддался тому исступленному мигу —
за метелью пустился читать ее книгу,
с шелестящим томленьем струится, струится
по дороге Борей страниц вереница.

Истекают печали, и метели стихают,
будто слезы на чистых листах высыхают,
и следа не найдешь от бывшего кипения.

И не читана книга, и не слушано пение.

Пришествие

И снова возвращается гулена,
когда краснеют ветви оголенно
в березовом лесу и ветер влажный
гоняет по асфальту клоч бумажный.

Во всякий час – едва за город выйдешь —
одну ее хлопочущую видишь,
когда в руках, подобных смуглым соснам,
белье снегов полощется под солнцем,

чтоб на ветру повиснуть для просушки, —
и облачные пухлые подушки
на синие ложатся покрывала.

Как будто слишком долго изнывала
по мужней ласке, по судьбе домашней,
по высланной половиками пашне —
и вот вернулась к хлопотам гулена!

И думаешь о том ошеломленно:
она – пора души или погода?!

И не заметишь вновь ее ухода...

У костра

Избылось пламя – только в сучьях
шныряет мышь огней ползучих.

Мы с непонятной смотрим болью
на негодящие уголья,
и наши мысли не о ближних,
но близкое в них есть одно,
что каждый в сущности окно
на грани жизни и нежизни.

Задумываюсь, озарен
такой же мыслью: с двух сторон
глядят в огонь и из огня
какие силы сквозь меня?..

Провожая

3. Лившицу

Судьба разводит, как свела.

В грядущем – тьма.

А ночь, как никогда, светла —
сойти с ума!

Пусть слезы просятся к лицу —
нам не к лицу!

Мы в человеческом лесу,
как на плацу.

Все так же мне верней зеркал
твои глаза,
а то, что рвется с языка, —
замнет вокзал.

Разлука страшная беда,
но горший страх —
вдруг стать чужими навсегда
в двух, трех шагах!

Слетит с руки руки тепло,
как ни держи.

Да будет памяти светло
всю ночь, всю жизнь...

«Изволит августейший август...»

Изволит августейший август
подзолотить густейших трав вкус
и, мед даруя, повторять:

– Я не намерен умирать!

И ливень лихо накренится
и станет, рухнув на грибницы,
громовым рокотом играть:

– Я не намерен умирать!

Усталый день, клонясь к закату,
даст разгадать свою загадку —
несчетна ликов его рать:

– Я не намерен умирать!

Весь в зернах звезд вселенский купол,
давно бы черт все это схрупал,
да не дано к рукам прибрать:

– Я не намерен умирать!

Не слишком я в себе уверен,
по крайней мере я намерен
хотя бы мигу подыграть:

– Я не намерен умирать!

Деревенская ночь

Тропа в туманные пещеры.
и чистый месяц высоко.

Здесь рай бессмертного Кашея:
бурьян, крапива, частокол.

Туман прикрыл ручей и крыши,
и звездам в нем не утонуть,
лишь искры их слегка колышет,
когда приходится вздохнуть.

Пасутся лошади на склоне,
роняя колокольцев звон.

В моей пустейшей из бессонниц
счастливый воплотился сон.

«От жизни и любви счастливой...»

*Проснулся и не мог понять: снилось ли
Чжоу, что он – бабочка, или бабочке
снится, что она – Чжоу"*

(Чжуанцзы)

От жизни и любви счастливой
безумцем стал я в сновиденьях:
цветущие исчезли сливы
в пустых смятениях осенних.

Похоже, и тому безумью
сны полагались протоколом,

где от садов, шумящих шумью,
хватало счастья мне и пчелам.

Еще не отошел от сна и
увидел снова в сон я двери...

Теперь, наверное, не знаю,
в которой пребываю сфере.

«Уже душа отчаянным...»

Уже душа отчаянным
продута сквозняком,
и неотступным таяньем
набух сердечный ком,
и долго не уменьшиться
ему и все болеть —
еще не меньше месяца
снегам в логах белеть,
и кажется, не так ли мне
судьба прервет полет,
как вспыхивает каплями
под стоком стылый лед!

«Сквозь изгородь и садик...»

Сквозь изгородь и садик,

сквозь дом проходит путь,
которым скачет всадник
и не дает уснуть.

Не ты ли в самой гуще
безудержной езды?

Дороге той бегущей
неведомы бразды.

Не зная мыслей задних,
вперед, всегда вперед
и рядом скачет всадник,
вращая звездный свод.

Под теми ж небесами
часы стучат «цок-цок!»,
и всадник тот же самый —
в подушке твой висок!

Новосибирск. 1962–1966

Целиноград. 1965

Новолушино. 1966

Обоюдность 1966–1974



В. Бойков в шляпе. 1976.

Рисунок М. Шапиро

Ноктюрны

«Распахни окно – слуховой аппарат...»

Распахни окно – слуховой аппарат
к горлу парка:
перепелиная – спать пора! —
перепалка
и пропитан до сумеречных высот
воздух смолкой.

Возведется и вызвездится небосвод —
все ли смолкнет?

Здесь оркестра, наверное, не собрать —
так, осколки!

Только песне расстроенной замирать
там, в поселке.

В полночь кратком не спи,
дремы узник:
что куется кукушкой – копи
в леса кузне.

Сколько все ж ни успел примечтать —
не с лихвой ли? —
начинаешь из будущего вычитать
поневоле.

«Мороз ночной скрепил узор...»

Мороз ночной скрепил узор
дорожный, и скрипуча корка,
и шаг размашистый не скор —
я чутко слышу, вижу зорко:
почти прозрачны облака,
сквозные звезды голубеют,
гул поезда издалека
то нарастает, то слабеет.

«Смеркли сумерки до мрака...»

Смеркли сумерки до мрака.
Двор – полночный ларь,
полный звезд.
Свеча маньяка —
уличный фонарь.
В нем накала лишь для нимба
на верхах столба,
весь баланс его олимпа
в вакууме лба.
Все ль равно в низах и высях:
там звезду в стихи
сковырнул, там искру высек

и вознес в верхи?

Все равно, когда зарею —
золотой метлой
заметет все – все закроет
голубою мглой.

«Есть предрассветное единство...»

Есть предрассветное единство
сознания и бытия,
когда звезды упавшей льдинка
осветит почек остря,
а все высоких рощ убранство
уже под инеем в ногах,
и вдруг означится пространство
миров – цветами на лугах.

И не звезде в кончине быстрой
возобновление прозреть:
Вселенной быть и божьей искрой
в глазах ничтожества сгореть!..

«Влюбленный два мира объемлет...»

Влюбленный два мира объемлет:
в объятиях женщина дремлет,

утишились в ней два ненастья,
две муки – усталость и счастье,
и локоть доверчиво согнут.

Забылись часы и не дрогнут,
и медленно время влачится
дыханием по ключице,
которым влюбленный и занят.

Тем временем в кране на кухне
холодная капля набухнет
и поюсторонностью грянет.

«Люблю прикосновенье трав...»

Люблю прикосновенье трав,
перемещающийся воздух
да искры жаркие костра
в сквозящих звездах.

Но здесь, близ вечности самой,
открывшей щелку,
я все равно хочу домой —
к жилью, к поселку.

Новосибирск. 1967–1968

Погудки

«Вот со смертью...»

Вот со смертью
бессмертие —
шляются.

Смерть идет,
смерть бредет,
что попало
берет,
а бессмертие —
разбирается!

Колыбельная

Голубая ночка,
тихая кроватка.

Баю-баю, дочка,
баю-баю, сладко!

Спят в твоей коляске
куклы, погремушки.

Баю-баю, глазки,

баю-баю, ушки!

Дремлют в небе тучки,
во поле дорожки.

Баю-баю, ручки,
баю-баю, ножки!

Вырастешь большая,
выспишься уж редко.

Баю-баю-баю,
баю-баю, детка!..

НОЧЬ

Затронутые закатом
роднятся предметы,
пора музыкантам
пробовать инструменты,
голубок прирученных
пальцам ласкать,
листьям беззвучию
рукоплескать,
звездному отточию
высыпать пора.

Прозревшему ночью
ослепнуть с утра.

Беда

Ты люби меня, беда,
чтоб хмельна в Оби вода,

чтоб звенели все медали,
чтобы издали видали!

Чтоб оляпка
выплывала,
что лебедушка,
чтобы бабка
танцевала,
что молодушка!

Чтобы каждый, проходя,
все оглядывался!

Я б тогда тебе, беда,
не нарадовался!

Туман

У нее на губах,
на губах дурман,
ах, дурман на губах
у нее играет,
а в глазах туман, —
ни вот столечко не пьян, —
ах, туман в глазах, туман
синим пламенем пылает!

Шмель

Не в зеленом лугу,
а в укромном углу,
там на белом снегу
розовеют два цветка.

Тут бы шмель и обомлел.

Я же попросту незряч:
рвется тонко
рубашонка,
белый снег под ней горяч!

Верба

Ой, хватило духу
влюбиться в молодуху!

Горек осенью вербный цвет, —
солнцу осенью веры нет, —
от морозов цвет избавить,
разве в дом занести,
на окошечко поставить,
дать еще поцвести.

Снегири

Пришла б скорей
и ты узнала б:
свист снегирей —
что флейта жалоб.

Свист снегирей —
что флейта жалоб.

Пришла б скорей,
поцеловала б!

От жалоб слаб,
и, если знала б,
ты не пришла б,
а прибежала б.

Сокол

Пал не лист с березы
высокой,
не сронил перо
ясный сокол —
перышко сорвал
скорый ветер.

Сокол тосковал —
не заметил.

Глубока ли кручина?
Далече ль?
Аль причиною
лебеди плечи?
Тучи знаменьем
низко повисли.
Ты одна мне
на свете по мысли.

Лебедь

Пропали в белом белые,
на ветки слезы нижутся,
протяжен крик точильщика:
– Точу ножи и ножницы!

С тончайшим звоном точатся
с точила искры снежные,
точна рука без жалости
и – ласковая – пробует
на волос ветра лезвие.

А белый лебедь спит,
и горло под крылом.

Сердцебиение

Сердце мое, что птица,
тесно ему сердится:
– Пой, перепел, пой!
Перепела пение —
сердцебиение —
перепелиный бой!

Приневоленные перепелки
выпускаются из кошелки.

Перепелки твои переловлены,
переловлены – окольцованы,
окольцованы – перецелованы.

Соседка

Как соседка мечтать
шла в беседку,
шел в беседку читать
я газетку.

Лето ночью одной
пробежало
и, прощаясь со мной,
проводало.

С утра благодать —
все светилося,
а соседка рыдать
не стыдилась.

Были точно

не буковки читаны,
а на кофточке
пуговики считаны,
да впотьмах все в траве
затерялись,
натурально лишь две
и остались.

Муравей

В ущелье Двух Яблок
мурашек стал смелым,
за что поплатился!
– Эй, муравей,
невзгоде твоей
не может помочь твоя братия!

Я сам заблудился
в ущелье Двух Яблок,
в ущелье Двух Яблок
под облачком белым
весеннего платья.

Чулок

Мы в росе до зари

с головы и до ног,
ты велишь – не смотри! —
выжимаешь чулок.
По высокой росе
белой ночью видна
не во всей ли красе
твоих ног белизна!
Не смотреть мне невмочь,
глянул – что своровал,
словно целую ночь
и не их целовал!

Мосток

Струя перевита струею,
ручей мы с тобой переходим,
и тонкая жердочка гнется,
и травы расходятся долу,
и сходятся сосны высоко,
и птицы приумолкают,
и слышно, как бьются сердца.

Ягодка

Надо ль было на беду

по соседству садика —
во малиновом саду
ягодка ли сладенька?

Эх, подробность каблучков
по забору тросточкой —
восемнадцать годков
ягодинка с косточкой!

Песня, ты ее ко мне
за калитку вымани —
вызвал сам бы, только не
вызнал званья-имени.

Прямиком

Все тропинки зимой напрямик,
я спроважу гостей за порог,
и впущу тебя без проволоочки,
и твои распущу завитки
по горячим плечам, по сорочке.

Зацелованные коротки
непогожие зимние ночи!

Снежок

Навеки со мною

ты будешь, дружок,
а все остальное —
что слезы в снежок!

Прощаясь навеки,
ее утешал
и мокрые веки
ее осушал.

Вкус помню поныне
и снега, и слез,
да в легком помине
себя не донес.

Березка

Опушит березку стужа —
кружевна, да холодна.

Для меня картину ту же
представляешь ты одна.

Знаю, что в мою угрозу
ты согласишь черта с два,
но березу по морозу
изрубили на дрова,
ох, и жаркие дрова!

Табор

Вдоль ручья широкой далью
пробежал закат босой.

По траве роса печалью,
по лицу печаль росой.

Что ли голубь голубице
не по воркованию?

Не успели полюбиться —
время расставанию.

Не расти, трава, высокой —
табор всю повытопчет.

Не бывай, любовь, глубокой —
сердце грустью вытечет.

Ветер

Ветер к осени сколь ни резвее,
только мыслей моих не развеет,
не навевает мне сладких снов,
не подскажет мне верных слов,
не шепнет их моей подруге —
у ветра холодные руки.

Ряженые

Жизнью недолгою
вечной дорогою
к Золушке маленькой
идут
пьяные карлики
Пьеро и Арлекин,
цветочек аленький
несут.

Чтоб сокровенные мечты
не заплутали в сказке —
носите Золушкам цветы
и не носите маски!

Страда

Поле сеяно не по-ровнышку —
здесь по камушку, там по зернышку.

Перепало, знать, и воробышку,
и воробушку, и зверенышку.

За короткое лето севера
что поспеет с того подзола-то —
будет краше узора-серебра
и дороже червонного золота.

Как засвищет вьюга-соловушка,
буду рад я не пышным оладушкам —
на подушке твоя головушка,
на плече моем будет рядышком.

Похороны

Мухи таракана
хоронили,
вшестером несли,
да уронили!

Таракан ушиб
три колена:
– Чтоб на вас на мух
да холера,
чтобы руки-ноги
отсохли!..

С перепугу мухи
подохли.

Таракан сидит,
слезы ронит:
– Кто теперь меня
похоронит?!

Яблоко

Блюдце голубое,
яйцо золотое,
серебряное сито.

Белую росую,
розовой зарею
яблоко умыто.

Это на родины,
это на крестины,
это на венчание,
это на прощание.

Новосибирск..1966–1970

Зимние тетради

I. Посещения

Юрию Кононенко

Всю ту морозную, снежную и ветреную зиму я обитал у тебя в мастерской.

Будни занимала служба, а досуги коротались как придется.

В гостях бывали редко. Иногда нас посещали друзья и женщины, но чаще – грезы.

Живые подробности той поры стали забываться, но стихи остались, и вот некоторые – тебе и другим на память.

*Слух напрягается
в непроглядности
вьюг и ночей.*

Взять скворечницу бы что ли
смастерить?

Сквозь вьюжный чад
кто пойдет по доброй воле
в гости!?

Ходики стучат,
да порой кукушка дверцу

открывает – огласить
получась: все хоть сердцу
веселее колесить!

Пой же, время!

Пусть надтреснут
бой, одышливы мехи!

Может быть, еще воскреснут,
отогреются стихи!

В самый час на плитке жаркой
чайник ожил и запел,
в самый раз весь круг заваркой
обнести бы, да успел
спохватиться: разве ж гости
припозднятся по такой
непогоде!..

Есть хоть гвозди,
слава Богу, в мастерской.

*Вон в роце заиндевелой
ветка оголенная
закачалась.*

День-деньской перед глазами
хладнокаменный январь.

На сугробе гребнем замер
вьюг стремительный словарь.

Я бы зиму-зимски пропил —
отлегло бы и с концом!

Но в окне девичий профиль

вспыхнул белым изразцом.

От какого наважденья
воплотилось на стекло
отпечатком сновиденья
мимолетное тепло?

Невозможный этот случай
не уложится в мозгу —
пальцы разве лишь колючей
изморозью обожгу.

Вот что в воздухе витало,
чем дышал я, что, хотя
слов, казалось, не хватало,
проявилось вдруг шутя!

*Белыми мотыльками
вокруг фонаря
снеговерть обозначена.*

Все хранит, что я утратил,
горькой памяти подвал.

До утра со мной приятель,
гость заезжий, тосковал.

О разлучных белых зимах
горевали вполпьяна,
словно вьюга нам любимых
напевала имена.

Не отбеливали совесть,
не тревожили грехи.

Помня все, забылись, то есть

впали в белые стихи,
не боясь тяжелым вздохом
эту легкость перебить.

Скоморох со скоморохом
может сам собою быть.

Ближе к трезвости по кругу
шли остатки папирос...

Проводил.

И впал во вьюгу —
в белый рой застывших слез.

*Из ложбинки в ложбинку
снег пересыпается —
места себе не находит.*

Тем лишь красит мой акрополь
стужи мраморная мгла,
что не сходит белый профиль
в нише светлой со стекла.

Пусть сосет тепло живое
этот стылый зимний свет,
пусть подобного покоя
ничего печальней нет,
но метелица немая
хоть поземкой да жива!

Вот и я припоминаю
побеспечнее слова
и спешу веселья ради
чашку чая нацедить —

ну, прилично ли в тетради
общей вздохи разводить!

Чем не скатерть-самобранка
чистый лист, в конце концов!

Чем еще не жизнь – времянка
сочинителя дворцов!

*Вновь взматается
снежный смерч,
бесприютно свет обезжавший.*

Все лицо зацеловала —
мокрых век не разлепить.

Метят ласковые жала
все слезами затопить.

Шалью белой облипает,
нежным зверем льнет к жилью,
и в дверях не отступает,
тянет песенку свою.

Утихает на порожке,
растворяется в тепле,
лишь серебряные крошки
оседают на стекле.

Это все, что на бумаге
остается от меня,
да и то боится влаги,
а точнее сказать – огня...

Морок вьюги изнебесной
завился в семи ветрах:

чуть вздохни – и слезкой пресной
обернется на губах.

*Мысли, как снежные вихри:
прилетают и распадаются в прах,
возникают и уносятся прочь.*

Я ушел.

В себя.

Далеко.

Знаю, как тебе со мной
рядом кутать одиноко
плечи в шарфик шерстяной.

Но не горько, а скорее
терпеливо и светло,
чашкой с чаем руки грея,
в мутное глядишь стекло.

Там, за ним, с исходом ночи,
словно разом вслух сказать,
звезды наших одиночеств
начинают исчезать.

Воет снегоочиститель,
в чашке чай давно остыл.

Как легко в мою обитель
я тебя переместил!

Если впрямь придешь ко мне ты —
не столкнись сама с собой,
не сожги моей планеты,
грезы этой голубой.

*Вплавлена синева
в разводы инея:
эмаль по серебру.*

Чувствуется, вот нагрянет
марта первое число,
запуржит, и забуранит,
и залепит все стекло.

Как часам в железном беге
износится суждено,
так исчезнет в белом снеге
то, что снегом рождено, —
и навеки белый профиль
за завьюженным окном
сгинет в царстве белых кровель
с белогривым скакуном.

Но качнется чуть подкова
рядом с дверью на гвозде,
как тоска очнется снова
на грунтованном холсте,
и какой бы слов разъятье
звучностью ни пронизать,
вся их музыка – проклятье,
если некому сказать.

*Тянет свежестью —
белья ли, газет ли —*

от надтаявшего снега.

Книгочийствую ночами,
связью терпкой упоен
будней наших с мелочами
вязью писанных времен.

Мыслей чаша круговая
переходит от судеб
к судьбам, суть передавая:
как вода, как черный хлеб,
жизнь сладка!

Тому порукой
мука трудная моя,
от которой и с подругой
легкой нет мне забытья.

Перышко еще от птицы
вечности не принесло,
и в конце еще страницы
не проставлено число,
и картонке на мольберте
весь не отдан непокой,
чтобы день, другой по смерти
праздность править в мастерской.

*Вот и событие:
ветер переменился.*

Снег осунулся, но тропку
за ночь свежим занесло.

В учреждение торопко
я бреду, чтоб в ремесло
впрячься и свою природу
тратить фабрикой ума —
любоваться на погоду
без отрыва от бумаг.

Днем в безликости расчета
трезвый торжествует бог,
но для вечера он черта
человечного сберег.

И толчет ледышки в ступе
рыжий чертушка – мой друг.

Может, оттепель наступит
в самом деле, если вдруг
в нетерпении подрамник
он холстиной оснастит, —
пусть там завтра спозаранок
тропка мерзлая хрустит...

*Что-то лопочет
на тумбе в просевшем сугробе
обрывок афиши.*

В ясный день, хотя и не пил,
странно пьян я.

Узнаю
в талом снеге серый пепел
пропылавших белых выюг.

С крыш в синичий знобкий воздух

спички каплею чирк да чирк,
сквозняком труху на гнездах
ворошит весенний цирк.

Что ж, приспел апрель пернатый
и куражится скворцом —
враль, хвастун невероятный
над копеечным дворцом.

Над проталиной у дома
слезный зыблется парок —
в неземной мои фантомы
зимние плывут чертог.

Но мурашком новой жизни
проникает под пальто,
хохоча на вечной тризне
сумасшедший шапито.

Новосибирск. 1968–1969

II. Путевые заметки

Э. Шиловскому

«Невозможно много за ночь...»

Невозможно много за ночь
перечувствовано мной.

Внята эта несказанность

изморозью кружевной.

С отрезвляющим апрелем
разлететься в светлый дым
тонким этим акварелям,
наслоениям ледяным.

Совершится неизбежный
четвертей круговорот,
и туман узора нежный
на мгновенье оживет.

Исчезая, он заплачет —
грянет струйки тонкой трель.

Декабрем был образ зачат,
а сотрет его апрель.

Через пальцы просочится
с подоконника вода.

Только чистая страница,
может, явит иногда
вихрем мысленных материй
в голубиной воркотне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.

«В монотонные просторы...»

В монотонные просторы,
в столбовые провода
наши с вьюгой разговоры

затянулись без следа.

За страницу белых стекол
в масляный гляжу глазок,
слышу, слышу, как зацокал
белкой серую лесок.

Времена чем невозвратней,
тем в помине голубей.

Поднимаю с голубятни
стаю белых голубей.

Понемногу с каждой птицей
набираю высоту.

Лишь бы им не утомиться,
не исчезнуть на лету,
лишь бы только передали,
что их движет изнутри!

И в неведомые дали
пропадают почтари.

Не хозяин я теперь им,
как и не жилище мне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.

«Истожились снегопады...»

Истожились снегопады,
и утишились ветра.

Только дворницкой лопаты

шорох слышится с утра.

Простираясь недалеко,
мысли зримые тихи,
и мгновенна подоплека
вдоха-выдоха в стихи.

Бог ли дали мне зашторил
серебристую тоской?

Наяву я грежу что ли?

Жду ль кого-то день-деньской?

Мимолетность – лейтмотивом
всякого черновика.

Иней в окнах – негативом
писанного на века.

Задержавшемся мигу
удосужив свой кивок,
я вникаю в эту книгу
и в застрочье, и меж строк,
где пробелом между делом
неизменно явен мне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.

«Запропали где-то вихри...»

Запропали где-то вихри —
позади иль впереди...

Хруст шагов – чужих, своих ли —

душу только бередит.

Гвоздь ко всякому моменту
звонко ходики куют
и за чистую монету
гвозди эти выдают.

Настоящего события
кто б удачней прикупил:
в каждом "есть" могу открыть я,
что ж я буду, что ж я был!..

Разве не мгновенна вечность —
я же в вечности бреду!

Может, в этом я беспечность
наконец-то обрету?

Вот уж чувствую вольготу —
бить перестает в виски
жизнью втянутый в работу
маятник моей тоски,
и теряю счет неделям —
поглотил меня вполне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.

«От тишайшей этой стужи...»

От тишайшей этой стужи
и от каменных палат
я решил бежать, и тут же,

взяв билет, я стал крылат
в предвкушении сперва лишь,
как меня, оторопев,
встретит славный мой товарищ,
деревенский терапевт!

То-то б нам покуролесить,
но пургою мой визит
сбит с маршрута и АН-10
в непредвиденный транзит.

В заметенной деревеньке
мой гостиничный редут,
где теряются не деньги —
в счет деньки мои идут —
и дотошный где будильник
этот вьюжный свет честит.

Закадычный собутыльник
здесь меня не навестит.

Отнесен, считай, к потерям
в снежной этой пелене
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.

«На крутую эту вьюгу...»

На крутую эту вьюгу
тишь внезапная легла,
наконец-то, в гости к другу

мне пробиться помогла.

Медицинским чистым спиртом
разбавлялся разговор,
и под звездный свод испытан
нужный путь на снежный двор.

В лад не спящей ли царевне
белый обморок зимы —
всей поди слышны деревне
торопливые пимы.

Запоздало попущенье —
израсходованы дни,
и на все про все общенье
сутки выдались одни.

Рано утром эскулапа
обнимаю я с тоской.

С трехступенчатого трапа
помахав ему рукой,
улечу к своим пределам,
где предстанет внове мне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне

«Возвращенье из глубинки...»

Возвращенье из глубинки,
честно говоря, глуши,
как из валенок в ботинки

переход моей души.

Вьюги подвели итоги,
и сугробы аж в этаж.

Придается убогий
в окна въевшийся пейзаж.

Иль считать за подмалевок,
или ж, раз на то пошло,
что для нежных лессировок
загрунтовано стекло?

Но шутя разоблачится
выспренных метафор муть —
надо в ночь лишь отлучиться
и холодного хлебнуть,
где проглядывает льдинкой
в синем воздухе луна.

Этот мой коктейль с чудинкой
надо выцедить до дна,
чтобы в ясности мороза
кроме звезд не стало грез.

Кончилась метаморфоза.

Никаких метаморфоз.

Сам я праздным подмастерьем
отвернул лицом к стене
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.

«О, душа! Ты – горожанка...»

О, душа! Ты – горожанка!
Воздух здесь хоть и свинцов,
окнецо здесь и лежанка
для тебя, в конце концов.

Здесь житейские заботы
словно псы на поводке.

Здесь и встречи ждут субботы
с кем-нибудь накоротке.

В огненность моих ладоней
медленность ее плечей,
а глаза в глаза – бездонней
кристаллических ночей.

Может статься, сгустком боли
подберется сердце в мозг
от безвыходной любви
и невыплаканных слез:
только-только глянуть стоит
на пустой экран окна,
как желание простое —
плакать – вымерзнет до дна.

Да отнюдь же не смертелен,
а спасителен вдвойне
город белый, белый терем
с белым обликом в окне.

Новосибирск. 1969–1970

Моления о плаче

«В ладонях гор нас лета огонь лизал...»

В ладонях гор нас лета огонь лизал,
А мы ручьем летели по уступам.
Без слез горюю, был бы рад слезам —
при щедром горе радуюсь так скупю.
Лизал нас огонь, оберегал твой плач.
В разлуке я упрашиваю осень:
– Напоминанья пламени припрячь,
пусть ветер слез мне решетом наносит...
Но как беспомощен и как неудержим
огненочек, трепещущий на ветке,
и всюду зажигает миражи
бесстрастные пылающей расцветки.

«Заводился сверчок вечерами...»

Заводился сверчок вечерами
что ни попадя золотить,
словно спешно готовился к драме
той, где дорого надо платить.

Был со звонами лета расплавлен
лист зеленый в ночном серебре,
золотым на рассвете был явлен —
первым возгласом о сентябре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.